**Окаянные дни. И.А.Бунин**

В 1918-1920 годы Бунин записывал в форме дневниковых заметок свои непосредственные наблюдения и впечатления от событий в России того времени. Вот несколько фрагментов:

Москва, 1918г. 1 января (старого стиля).

Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное. Даже наверное так...

5 февраля.

С первого февраля приказали быть новому стилю. Так что по-ихнему

уже восемнадцатое...

6 февраля.

В газетах — о начавшемся наступлении на нас немцев. Все говорят:

“Ах, если бы!”

На Петровке монахи колют лед. Прохожие торжествуют, злорадствуют:

“Ага! Выгнали! Теперь, брат, заставят!” Далее даты опускаем. В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он “не может, к сожалению, заплатить за билет”.

Приехал Дерман, критик, — бежал из Симферополя. Там, говорит, “неописуемый ужас”, солдаты и рабочие “ходят прямо по колено в крови”. Какого-то старика-полковника живьем зажарили в паровозной топке.

“Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно...” Это слышишь теперь поминутно. Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет А главное: наша “пристрастность” будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна “страсть” только “революционного народа”? А мы-то что ж, не люди, что ли?

В трамвае ад, тучи солдат с мешками — бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев.

Встретил на Поварской мальчишку-солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал: “Деспот, сукин сын!”

На стенах домов кем-то расклеены афиши, уличающие Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клестова: “Ну, а сколько же именно эти мерзавцы получили?” “Не беспокойтесь, — ответил он с мутной усмешкой, — порядочно...”

Разговор с полотерами:

— Ну, что же скажете, господа, хорошенького?

— Да что скажешь. Все плохо.

— А что, по-вашему, дальше будет?

— А Бог знает, — сказал курчавый. — Мы народ темный... Что мы знаем? То и будет: напустили из тюрем преступников, вот они нами и управляют, а их надо не выпускать, а давно надо было из поганого ружья расстрелять. Царя ссадили, а при нем подобного не было. А теперь этих большевиков не сопрешь. Народ ослаб... Их и всего-то сто тысяч наберется, а нас сколько миллионов, и ничего не можем. Теперь бы казенку открыть, дали бы нам свободу, мы бы их с квартир всех по клокам растащили”.

Разговор, случайно подслушанный по телефону:

— У меня пятнадцать офицеров и адъютант Каледина. Что делать?

— Немедленно расстрелять.

Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка — и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток: “Вставай, подымайся, рабочай народ!”

Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские.

Римляне ставили на лица своих каторжников клейма: “Сауе гигет”. На эти лица ничего не надо ставить, и без всякого клейма все видно.

Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульническая — то интернационал, то “русский национальный подъем”.

“Съезд Советов”. Речь Ленина. О, какое это животное! Читал о стоящих на дне моря трупах, — убитые, утопленные офицеры. А тут “Музыкальная табакерка”.

Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет из-под колес. И Азия, Азия — солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами... У солдат и рабочих, то и дело грохочущих на грузовиках, морды торжествующие.

В кухне у П. солдат, толстомордый... Говорит, что, конечно, социализм сейчас невозможен, но что буржуев все-таки надо перерезать.

Одесса. 1919 г.

12 апреля (старого стиля).

Уже почти три недели с дня нашей погибели.

Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город-Письмо из Москвы... от 10 августа пришло только сегодня. Впрочем, почта русская кончилась уже давно, еще летом 17 года: с тех самых пор, как у нас впервые, на европейский лад, появился “министр почт и телеграфов...”. Тогда же появился впервые и “министр труда” — и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство. Все орали друг на друга за малейшее противоречие: “Я тебя арестую, сукин сын!”

Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. ...И кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть “попа”, “обывателя”, мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина — словом, вся и всех, за исключением какого-то “народа” — безлошадного, конечно, — и босяков.

Сейчас все дома темны, в темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи притоны, — там пылают люстры, слышны балалайки, видны стены, увешанные черными знаменами, на которых белые черепа с надписями: “Смерть, смерть буржуям!”

Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка — перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены... И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы “пламенной, беззаветной любовью к человеку”, “жаждрй красоты, добра и справедливости”!

Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, “шаткость”, как говорили в старину. Народ сам вказал про себя: “из нас, как из древа, — и дубина, и икона”, — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев.

“От победы к победе — новые успехи доблестной Красной Армии. Расстрел 26 черносотенцев в Одессе...”

Слыхал, что и у нас будет этот дикий грабеж, какой уже идет в Киеве, — “сбор” одежды и обуви... Но жутко и днем. Весь огромный город не живет, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с лотков, плюет семечками, “кроет матом”. По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за “павшего борца” (лежит в красном гробу...), или чернеют бушлаты играющих на гармонях, пляшущих и вскрикивающих матросов: “Эх, яблочко, куда котишься!”

Вообще, как только город становится “красным”, тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. Совершается некий подбор лиц... На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем.

Я видел Марсово Поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых.

Из “Известий” (замечательный русский язык): “Крестьяне говорят, дайте нам коммуну, лишь бы избавьте нас от кадетов...”

Подпись под плакатом: “Не зарись, Деникин, на чужую землю!”

Кстати, об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать — над клозетной чашкой.

“Предупреждение” в газетах: “В связи с полным истощением топлива, электричества скоро не будет”. Итак, в один месяц все обработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды — ничего!

Вчера поздно вечером, вместе с “комиссаром” нашего дома, явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты “на предмет уплотнения пролетариатом”.

Почему комиссар, почему трибунал, а не просто суд? Все потому, что только под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по колено в крови...

В красноармейцах главное — распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает “шевелюр”. Одеты в какую-то сборную рвань. Часовые сидят у входов реквизированных домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал.

Призывы в чисто русском духе: “Вперед, родные, не считайте трупы!\*

В Одессе расстреляно еще 15 человек (опубликован список). Из Одессы отправлено “два поезда с подарками защитникам Петербурга”, то есть с продовольствием (а Одесса сама дохнет с голоду).

Р. S. Тут обрываются мои одесские заметки. Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы, в конце января 1920 года, никак не мог найти их.